

Часть первая

I

ТЕНЬ РИШЕЛЬЕ



одном из покоев уже знакомого нам кардинальского дворца, за столом с позолоченными углами, заваленным бумагами и книгами, сидел мужчина, подперев обеими руками голову.

Позади него в огромном камине горел яркий огонь, и пылающие головни с треском обваливались на вызолоченную решетку. Свет очага падал сзади на великолепное одеяние задумавшегося человека, а лицо его освещало пламя свечей, зажженных в канделябрах.

И красная сутана, отделанная богатыми кружевами, и бледный лоб, омраченный тяжелой думой, и уединенный кабинет, и тишина пустых соседних зал, и мерные шаги часовых на площадке лестницы — все наводило на мысль, что это тень кардинала Ришелье осталась еще в своем прежнем жилище.

Увы, это была действительно только тень великого человека! Ослабевшая Франция, пошатнувшаяся власть короля, вновь собравшееся с силами буйное дворянство и неприятель, переступивший границу, свидетельствовали о том, что Ришелье здесь больше нет.

Но еще больше утверждало в мысли, что красная сутана принадлежала вовсе не старому кардиналу, одиночество, в котором пребывала эта фигура, тоже более подобавшее призраку, чем живому человеку: в пустых коридорах не толпились придворные, зато дворы были полны стражи; с улицы к окнам кардинала летели насмешки всего города, объединившегося в бурной ненависти к нему; наконец, издали то и дело доносилась ружейная пальба, которая, правда, пока велась впустую, с единственной целью показать караулу, швейцарским наемникам, мушкетерам и солдатам, окружавшим Пале-Рояль (теперь и самый кардинальский дворец сменил имя), что у народа тоже есть оружие.

Этой тенью Ришелье был Мазарини.

Он чувствовал себя одиноким и бессильным.

— Иностранец! — шептал он. — Итальянец! Вот их излюбленные слова. С этими словами они убили, повесили, истребили Кончини¹. Если бы я дал им волю, они бы и меня убили, повесили, истребили. А какое я им сделал зло? Только прижал их немного налогами. Дурачье! Они не понимают, что враг их совсем не итальянец, плохо говорящий по-французски, а разные краснобаи, с чистейшим парижским выговором разглагольствующие перед ними.

— Да, да, — бормотал министр с тонкой улыбкой, казавшейся сейчас неуместной на его бледных губах, — да, ваш ропот напоминает мне, как непрочно судьба временщика; но если вы это знаете, то знайте же, что я-то не простой временщик! У графа Эссекса был великолепный перстень с алмазами, который подарила ему царственная любовница²; а у меня простое кольцо с вензелем и числом, но это кольцо освящено в церкви Пале-Рояля³. Им не сломить меня, сколько они ни грозятся. Они не замечают, что, хоть они и кричат вечно «Долой Мазарини!», я заставляю их кричать также: «Да здравствует герцог Бофор!», «Да здравствует принц Конде!» или «Да здравствует парламент!» И вот герцог Бофор в Венсене, принц не сегодня завтра угодит туда же, а парламент... (Тут улыбка кардинала превратилась в гримасу такой ненависти, какой никогда не видали на его ласковом лице.) Парламент... посмотрим еще, что сделать с парламентом; за нас Орлеан и Монтаржи. О, я спешить не стану; но те, кто начал криком: «Долой Мазарини», в конце концов будут кричать «долой» всем этим людям, каждому по очереди.

Кардиналу Ришелье, которого они ненавидели, пока он был жив, и о котором только и говорят с тех пор, как он умер, приходилось хуже меня — ведь его несколько раз прогоняли, и очень часто он боялся быть выгнанным. Меня же королева никогда не прогонит, и если я буду вынужден уступить народу, то она уступит вместе со мной; если мне придется бежать, она убежит вместе со мной, и тогда посмотрим, как бунтовщики обойдутся без своей королевы и короля. Ах, не будь я иностранец, будь я француз, будь я дворянин!..

И он снова впал в задумчивость.

Действительно, положение было трудное, а истекший день усложнил его еще более. Мазарини, вечно подстрекаемый своей

¹ К о н ч и н и — итальянец-авантюрист, бывший фаворитом королевы Марии Медичи, министром Людовика XIII; убит в 1617 г.

² Королева Елизавета Английская.

³ Имеются сведения, что Мазарини, не дававший обета безбрачия, вступил в тайный брак с Анной Австрийской.

гнусной жадностью, давил народ налогами, и народ, у которого, как говорил прокурор Талон, оставалась одна душа в теле, и то потому, что ее не продашь с публичных торгов, — этот народ, которому громом военных побед хотели заткнуть глотку и который убедился, что лаврами он сыт не будет, — давно уже роптал.

Но это было еще не все. Пока ропщет один только народ, двор, отделенный от него буржуазией и дворянством, не слышит его ропота; но Мазарини имел неосторожность затронуть судебное ведомство: он продал двенадцать патентов на должность парламентских докладчиков! Между тем чиновники платили за свои места очень дорого; а так как появление двенадцати новых братьев должно было снизить цену, то прежние чины соединились и поклялись на Евангелии ни под каким видом не допускать новых докладчиков и сопротивляться всем притеснениям двора; они обязались, в случае если бы один из них за неповиновение потерял свою должность, сложиться и возвратить ему стоимость патента.

Вот какие действия были предприняты с обеих сторон.

Седьмого января около восьмисот парижских купцов собрались, возмущенные новыми налогами на домовладельцев, и, избрав десять депутатов, отправили их к герцогу Орлеанскому, который, по своему старому обычаю, заигрывал с народом. Герцог Орлеанский принял их, и они заявили ему, что решили не платить нового налога, хотя бы им пришлось защищаться против королевских сборщиков с оружием в руках. Герцог Орлеанский выслушал их очень благосклонно, обнадежил, посулил поговорить об уменьшении налога с королевой и напутствовал их, как и полагается принцу, обещанием: «Посмотрим».

С своей стороны, парламентские докладчики девятого числа явились к кардиналу, и один из них от лица всех остальных говорил так решительно и смело, что кардинал был изумлен; он отпустил их, сказав, как и герцог Орлеанский: «Посмотрим».

И вот, чтобы посмотреть, был созван совет; послали за управляющим финансами д'Эмери.

Народ ненавидел этого д'Эмери: во-первых, потому, что он управлял финансами, а управляющего финансами всегда ненавидят, во-вторых, надо признаться, он этого в самом деле заслуживал.

Это был сын лионского банкира Партичелли, который после банкротства переменял фамилию и стал называться д'Эмери. Кардинал Ришелье, заметив в нем большие финансовые способности, представил его Людовику XIII под именем д'Эмери и, желая назначить его управляющим финансами, расхвалил его.

— Чудесно! — ответил король. — Я очень рад, что вы предлагаете д'Эмери на это место, где нужен человек честный. Мне говори-

ли, что вы покровительствуете мошеннику Партичелли, и я боюсь, что вы заставите меня взять его.

— Государь, — ответил кардинал, — будьте покойны: Партичелли, о котором угодно было вспомнить вашему величеству, уже повешен,

— А, тем лучше! — воскликнул король. — Значит, не напрасно называют меня Людовиком Справедливым.

И он подписал назначение д'Эмери.

Этот самый д'Эмери и был теперь управляющим финансами.

За ним послали от имени министра; он прибежал бледный, перепуганный и рассказал, что его сына чуть не убили сегодня на дворцовой площади: его узнали, окружили и стали поносить за роскошь, в которой жила его жена, — ее покои были обиты красным бархатом с золотой бахромой. Она была дочерью Николая Ле-Камю, секретаря с 1617 года, который пришел в Париж с двадцатью ливрами в кармане, а недавно, оставив для себя сорок тысяч ливров ренты, разделил между своими детьми девять миллионов.

Сына д'Эмери едва не задушили. Один из бунтовщиков предлагал мять его до тех пор, пока из него не выжмут награбленного золота.

Управляющий финансами был слишком взволнован происшествием с сыном, чтобы рассуждать спокойно, и совет ничего не решил в этот день.

На следующий день первый президент парламента Матье Моле, смелость которого в подобных обстоятельствах, по словам кардинала де Реца, равнялась храбрости герцога Бофора и принца Конде, иначе говоря, двух лиц, считавшихся самыми отважными во всей Франции, — этот первый президент на другой день тоже подвергся нападению: народ угрожал раздаться с ним за все учиненное зло. Однако первый президент ответил со своим обычным спокойствием, не волнуясь и не выказывая удивления, что если смутьяны не подчинятся воле короля, то он велит поставить на площадях виселицы и тотчас же вздернет на них самых буйных. На это ему сказали, что виселицы давно пора поставить: они пригодятся, чтобы вздернуть на них судей-лихоимцев, покупающих себе милость двора ценой народной нищеты.

Но и это было еще не все. Одиннадцатого числа, когда королева направлялась к обедне в собор Парижской Богоматери, что она делала неизменно каждую субботу, за ней двинулось больше двухсот женщин, крича и требуя справедливости. Впрочем, у них не было дурных намерений: они хотели только стать на колени перед королевой и пробудить в ней сострадание. Но конвой не допустил их, а королева прошла надменно и гордо, не слушая жалоб.

После полудня был снова собран совет, и на нем решено было поддержать авторитет короля; для этой цели на следующий день, двенадцатого числа, было назначено заседание парламента.

В тот день, с вечера которого мы и начинаем наш рассказ, десятилетний король, только что выздоровевший от ветряной оспы, ходил благодарить за свое исцеление Парижскую Богоматерь. Под этим предлогом по королевскому приказу были собраны все гвардейцы, швейцарцы, мушкетеры и выстроены вокруг Пале-Рояля, вдоль набережных и Нового моста. Прослушав обедню, король отправился в парламента, где таким образом неожиданно состоялось «королевское заседание»¹, и не только подтвердил все прежние эдикты, но огласил еще пять или шесть новых, один разорительнее другого, по словам кардинала де Реца. И теперь даже первый президент, который, как мы видели, держал раньше сторону двора, решительно выступил против того, чтобы короля привели в парламента для стеснения свободы депутатов.

Но особенно дерзко восстали против новых налогов президент Бланмениль и советник Брусель.

Огласив эдикты, король вернулся в Пале-Рояль. Народ толпился на его пути. Все знали, что он возвращается из парламента, но неизвестно было, ходил ли он туда, чтобы защитить народ, или для того, чтобы сильнее притеснить его. Вот почему на всем пути его не раздалось ни одного радостного крика, ни одного приветствия по случаю его выздоровления. Лица горожан, напротив, были мрачны и беспокойны; на некоторых выражалась даже угроза.

Хотя король вернулся во дворец, войска остались на своих местах, — боялись, как бы не вспыхнул мятеж, когда станут известны результаты заседания парламента. И, правда, едва лишь разнесся слух, что король, вместо того чтобы облегчить налоги, еще более их увеличил, люди сейчас же стали собираться кучками, слышались громкие жалобы и крики: «Долой Мазарини! Да здравствует Брусель! Да здравствует Бланмениль!»

Народ знал, что Брусель и Бланмениль говорили в его пользу, и хотя их красноречие пропало даром, он тем не менее был им благодарен.

Толпу хотели разогнать, хотели заставить ее замолчать, но, как всегда бывает в таких случаях, она только разрасталась и крики усиливались.

Королевским гвардейцам и швейцарцам был отдан приказ не только сдерживать толпу, но и выслать патрули на улицы Сен-Дени и Сен-Мартен, где сборища казались особенно многочисленны-

¹ Речь идет о так называемом Lit de justice — торжественном заседании парламента, где король лично объявлял свою «монаршую волю».

ми и возбужденными; тут в Пале-Рояле доложили о приезде купеческого старшины.

Он немедленно был принят и объявил, что если правительство не прекратит своих враждебных действий, то через два часа весь Париж возьмется за оружие.

Еще спорили о том, какие следует принять меры, когда вошел гвардейский лейтенант Коменж. Лицо его было в крови, платье изодрано. Увидев его, королева вскрикнула от изумления и спросила, что с ним случилось.

А случилось то, что предвидел купеческий старшина: народ раздражило появление солдат. Со всех колоколен ударили в набат. Коменж не растерялся, арестовал какого-то человека, который показался ему одним из главных бунтарей, и велел, для примера, повесить его на кресте посреди площади Трауар; солдаты схватили его и потащили, чтобы выполнить приказ. Но около рынка на них напала толпа: посыпались камни и удары алебард. Мятежник воспользовался минутой, добежал до улицы Меньял и скрылся в доме, двери которого солдаты тотчас же выломали.

Однако это грубое насилие оказалось напрасным: виновного нигде не могли найти. Коменж поставил караул около дома, а сам с остальными солдатами вернулся во дворец, чтобы доложить обо всем королеве. По всему пути их преследовали крики и угрозы; несколько человек из его отряда были поранены пиками и алебардами, и самому ему камнем рассекли бровь.

Рассказ Коменжа подтвердил заявление старшины; дело пахло серьезным восстанием, а к нему не были подготовлены. Поэтому кардинал велел распустить в народе слух, что войска выстроены на набережных и на Новом мосту только по случаю церемонии и сейчас удалятся. Действительно, к четырем часам дня они все были стянуты ко дворцу Пале-Рояль; поставили пост у заставы Сержантов, другой — у Трехсот Слепых, третий — на холме Св. Рока. Во дворах и нижних этажах дворца собрали швейцарцев и мушкетеров и стали ждать.

Вот в каком положении были дела, когда мы ввели читателя в кабинет кардинала Мазарини, бывший прежде кабинетом Ришелье. Мы видели, в каком расположении духа был кардинал, прислушиваясь к доносившемуся до него народному ропоту и к далеким ружейным выстрелам.

Вдруг он поднял голову, нахмурил брови, как человек на что-то решившийся, взглянул на огромные стенные часы, которые сейчас должны были пробить десять, взял со стола бывший у него всегда под руками золоченый свисток и свистнул два раза.

Бесшумно отворилась скрытая под стеной обивкой дверь; из нее тихо вышел человек, одетый в черное, и стал за его креслом.

— Бернуин, — сказал кардинал, даже не оглянувшись, так как знал, что на два свистка должен явиться камердинер, — что за мушкетеры дежурят во дворце?

— Черные мушкетеры, монсиньор.

— Какой роты?

— Господина де Тревиля.

— Есть кто-нибудь из офицеров этой роты в передней?

— Лейтенант д'Артаньян.

— Надежный, надеюсь?

— Да, монсиньор.

— Подай мне мушкетерский мундир и помоги одеться.

Камердинер вышел так же беззвучно, как вошел, и через минуту вернулся с платьем.

В молчаливой задумчивости Мазарини стал снимать свое парадное облачение, которое надел, чтобы присутствовать на заседании парламента; затем натянул военный мундир, который он носил с известной непринужденностью еще в итальянских походах. Одевшись, он сказал:

— Позови сюда д'Артаньяна.

Камердинер вышел, на этот раз в среднюю дверь, по-прежнему безмолвный, словно тень.

Оставшись один, кардинал с удовлетворением посмотрел на себя в зеркало. Он был еще молод, — ему только что минуло сорок шесть лет, — хорошо сложен, роста чуть ниже среднего; у него был прекрасный, свежий цвет лица, глаза, полные огня, большой, но красивый нос, широкий, гордый лоб, русые, слегка курчавые волосы; борода, темнее волос на голове, была всегда тщательно завитая, что очень шло к нему.

Кардинал надел перевязь со шпагой, самодовольно оглядел свои красивые и выхоленные руки и, отбросив грубые замшевые перчатки, полагающиеся по форме, надел обыкновенные — шелковые.

В эту минуту дверь открылась.

— Лейтенант д'Артаньян, — доложил камердинер.

Вошел офицер.

Это был мужчина лет тридцати девяти или сорока, небольшого роста, но стройный, худой, с живыми умными глазами, с черной бородой, но с проседью на голове, что часто бывает у людей, которые прожили жизнь слишком весело или слишком печально, — в особенности если волосы у них темные.

Д'Артаньян, войдя в комнату, сразу же узнал кабинет кардинала Ришелье, где ему пришлось побывать однажды.

Видя, что здесь никого нет, кроме мушкетера его роты, он внимательно посмотрел на этого человека и под одеждой мушкетера сразу же узнал кардинала.

Д'Артаньян остановился в позе почтительной, но полной достоинства, как подобает человеку из общества, привыкшему часто встречаться с вельможами.

Кардинал устремил на него взгляд, скорее острый, нежели глубокий, рассмотрел его внимательно и после нескольких секунд молчания спросил:

— Вы господин д'Артаньян?

— Так точно, монсиньор, — ответил офицер.

Кардинал еще раз посмотрел на умную голову, на лицо, чрезвычайную подвижность которого обуздали годы и опытность. Д'Артаньян выдержал испытание: на него смотрели некогда глаза поострее тех, что подвергали его исследованию сейчас.

— Вы поедете со мной, сударь, — сказал кардинал, — или, вернее, я поеду с вами.

— Я к вашим услугам, монсиньор, — ответил д'Артаньян.

— Я хотел бы лично осмотреть посты у Пале-Рояля. Как вы думаете, это опасно?

— Опасно, монсиньор? — удивился д'Артаньян. — Почему же?

— Говорят, народ совсем взбунтовался.

— Мундир королевских мушкетеров пользуется большим уважением, монсиньор, и, в случае надобности, я с тремя товарищами берусь разогнать сотню этих бездельников.

— Но вы знаете, что случилось с Коменжем?

— Господин Коменж — гвардеец, а не мушкетер, — ответил д'Артаньян.

— Вы хотите сказать, — заметил кардинал улыбаясь, — что мушкетеры лучшие солдаты, чем гвардейцы?

— Каждый гордится своим мундиром, монсиньор.

— Только не я, — рассмеялся Мазарини. — Вы видите, я променял его на ваш.

— Черт побери! — воскликнул д'Артаньян. — Вы это говорите из скромности, монсиньор! Что до меня, то будь у меня мундир вашего преосвященства, я удовольствовался бы им и позаботился бы о том, чтобы никогда не надевать другого.

— Да, только для сегодняшней прогулки он, пожалуй, не очень надежен. Бернуин, шляпу!

Слуга подал форменную шляпу с широкими полями. Кардинал надел ее, лихо заломив набок, и обернулся к д'Артаньяну:

— У вас в конюшне есть оседланные лошади?

— Есть, монсиньор.

— Так едем.

— Сколько человек прикажете взять с собою, монсиньор?

— Вы сказали, что вчетвером справитесь с сотней бездельников; так как мы можем встретить их две сотни, возьмите восьмерых.

— Как прикажете.

— Идите, я следую за вами. Или нет, постойте, лучше пройдем здесь. Бернуин, посвети нам.

Слуга взял свечу, а кардинал взял со стола маленький вырезной ключ, и, выйдя по потайной лестнице, они через минуту очутились во дворе Пале-Рояля.

II НОЧНОЙ ДОЗОР

Десять минут спустя маленький отряд выехал на улицу Добрых Ребят, обогнув театр, построенный кардиналом Ришелье для первого представления «*Мирам*»¹; теперь здесь, по воле кардинала Мазарини, предпочитавшего литературе музыку, шли первые во Франции оперные спектакли.

Все в городе свидетельствовало о народном волнении. Многочисленные толпы двигались по улицам, и, вопреки тому, что говорил д'Артаньян, люди останавливались и смотрели на солдат дерзко и с угрозой. По всему видно было, что у горожан обычное добродушие сменилось более воинственным настроением. Время от времени со стороны рынка доносился гул голосов. На улице Сен-Дени стреляли из ружей, и по временам где-то внезапно и неизвестно для чего, единственно по прихоти толпы, начинали бить в колокол.

Д'Артаньян ехал с беззаботностью человека, для которого такие пустяки ничего не значат. Если толпа загоразивала дорогу, он направлял на нее своего коня, даже не крикнув «берегись!»; и, как бы понимая, с каким человеком она имеет дело, толпа расступалась и давала всадникам дорогу. Кардинал завидовал этому спокойствию; и хотя оно объяснялось, по его мнению, только привычкой к опасностям, он чувствовал к офицеру, под начальством которого вдруг очутился, то невольное уважение, в котором благоразумие не может отказать беспечной смелости.

Когда они приблизились к посту у заставы Сержантов, их окликнул часовой:

— Кто идет?

Д'Артаньян отозвался и, спросив у кардинала пароль, подъехал к караулу. Пароль был: Людовик и Рокруа.

После обмена условными словами д'Артаньян спросил, не лейтенант ли Коменж командует караулом.

¹ «М и р а м» — трагедия, принадлежащая перу самого Ришелье.

Часовой указал ему на офицера, который стоя разговаривал с каким-то всадником, положив руку на шею лошади. Это был тот, кого искал д'Артаньян.

— Господин де Коменж здесь, — сказал д'Артаньян, вернувшись к кардиналу.

Мазарини подъехал к нему, между тем как д'Артаньян из скромности остался в стороне; по манере, с какой оба офицера, пеший и конный, сняли свои шляпы, он видел, что они узнали кардинала.

— Bravo, Гито, — сказал кардинал всаднику, — я вижу, что, несмотря на свои шестьдесят четыре года, вы по-прежнему бдительны и преданны. Что вы говорили этому молодому человеку?

— Монсиньор, — отвечал Гито, — я говорил ему, что мы переживаем странные времена и что сегодняшний день очень напоминает дни Лиги, о которой я столько слышался в молодости. Знаете, сегодня на улицах Сен-Дени и Сен-Мартен речь шла не более не менее как о баррикадах!

— И что же ответил вам Коменж, мой дорогой Гито?

— Монсиньор, — сказал Коменж, — я ответил, что для Лиги им кой-чего недостает, хоть, по-моему, и немало, — а именно герцога Гиза; да такие вещи и не повторяются.

— Это верно, но зато они готовят Фронду¹, как они выражаются, — заметил Гито.

— Что такое Фронда? — спросил Мазарини.

— Они так называют свою партию, монсиньор.

— Откуда это название?

— Кажется, несколько дней тому назад советник Башомон сказал в парламенте, что все мятежники похожи на парижских школьников, которые сидят по канавам с пращей и швыряют камнями; чуть завидят полицейского — разбегаются, но как только он пройдет, опять принимаются за прежнее. Они подхватили это слово и стали называть себя фрондерами, как брюссельские оборванцы зовут себя гезами. За эти два дня все стало «по-фрондерски» — булки, шляпы, перчатки, муфты, веера; да вот, послушайте сами.

Действительно, в эту самую минуту распахнулось какое-то окно, в него высунулся мужчина и запел:

Слышен ветра шепот,
Слышен свист порой,
Это Фронды ропот:
«Мазарини долой!»

¹ La fronde — праща (фр.).

— Наглец, — проворчал Гито.

— Монсиньор, — сказал Коменж, который из-за полученных побоев был в дурном настроении и искал случая в отместку за свою шишку нанести рану, — разрешите послать пулю этому бездельнику, чтобы научить его не петь в другой раз так фальшиво?

И он уже протянул руку к кобуре на дядюшкином седле.

— Нет, нет! — воскликнул Мазарини. — *Diavolo!*, мой милый друг, вы все дело испортите, а оно пока идет чудесно. Я знаю всех ваших французов, от первого до последнего: поют, значит — будут платить. Во времена Лиги, о которой вспоминал сейчас Гито, распевали только мессы, ну и было очень плохо. Едем, Гито, едем, посмотрим, так ли хорош караул у Трехсот Слепых, как у заставы Сержантов.

И, махнув Коменжу рукой, он подъехал к д'Артаньяну, который снова занял место во главе своего маленького отряда. Следом за ним ехали кардинал и Гито, а немного поодаль остальные.

— Это правда, — проворчал Коменж, глядя вслед удаляющемуся кардиналу. — Я и забыл: платить да платить, больше ему ничего не надо.

Теперь они ехали по улице Сент-Оноре, беспрестанно рассеивая по пути кучки народа. В толпе только и разговору было, что о новых эдиктах; жалели юного короля, который, сам того не зная, разоряет народ; всю вину сваливали на Мазарини; поговаривали о том, чтобы обратиться к герцогу Орлеанскому и к принцу Конде; восторженно повторяли имена Бланмениля и Брюселя.

Д'Артаньян беспечно ехал среди народа, как будто он сам и его лошадь были из железа; Мазарини и Гито тихо разговаривали; мушкетеры, наконец узнавшие кардинала, хранили молчание.

Когда по улице Св. Фомы они подъехали к посту Трехсот Слепых, Гито вызвал младшего офицера. Тот подошел с рапортом.

— Ну, как дела? — спросил Гито.

— Капитан, — ответил офицер, — все обстоит благополучно; только в этом дворце что-то неладно, на мой взгляд.

И он показал рукой на великолепный дворец, стоявший там, где позже построили театр Водевиль.

— В этом доме? — спросил Гито. — Да ведь это особняк Рамбулье.

— Не знаю, Рамбулье или нет, но только я видел своими глазами, как туда входило множество подозрительных лиц.

— Вот оно что! — расхохотался Гито. — Да ведь это поэты!

¹ Черт (*um.*).

— Эй, Гито, — сказал Мазарини, — не отзывайся так непочтительно об этих господах. Я сам в юности был поэтом и писал стихи на манер Бенсерада¹.

— Вы, монсиньор!

— Да, я. Хочешь, продекламирую?

— Это меня не убедит. Я не понимаю по-итальянски.

— Зато когда с тобой говорят по-французски, ты понимаешь, мой славный и храбрый Гито, — продолжал Мазарини, дружески кладя руку ему на плечо, — и какое бы ни дали тебе приказание на этом языке, ты его исполнишь?

— Без сомнения, монсиньор, как всегда, если, конечно, приказание будет от королевы.

— Да, да! — сказал Мазарини, закусывая губу. — Я знаю, ты всецело ей предан.

— Уж двадцать лет я состою капитаном гвардии ее величества.

— В путь, д'Артаньян, — сказал кардинал, — здесь все в порядке. Д'Артаньян, не сказав ни слова, занял свое место во главе колонны с тем слепым повиновением, которое составляет отличительную черту солдата.

Они проехали по улицам Ришелье и Вильдо к третьему посту на холме Св. Рока. Этот пост, расположенный почти у самой крепостной стены, был самым уединенным, и прилегающая к нему часть города была мало населена.

— Кто командует этим постом? — спросил кардинал.

— Вилькье, — ответил Гито.

— Черт! — выругался Мазарини. — Поговорите с ним сами. Вы знаете, мы с ним не в ладах с тех пор, как вам поручено было арестовать герцога Бофора: он в обиде, что ему, капитану королевской гвардии, не доверили эту честь.

— Знаю, и сто раз доказывал ему, что он не прав, потому что король, которому было тогда четыре года, не мог ему дать такого приказания.

— Да, но зато я мог его дать, Гито; однако я предпочел вас.

Гито, ничего не отвечая, пришпорил лошадь и, обменявшись паролем с часовым, вызвал Вилькье.

Тот подошел к нему.

— А, это вы, Гито! — проговорил он ворчливо, по своему обыкновению. — Какого черта вы сюда явились?

— Приехал узнать, что у вас нового.

— А чего вы хотите? Кричат: «да здравствует король!» и «долой Мазарини!». Ведь это уже не новость: за последнее время мы призывали к таким крикам.

¹ Бенсерад — французский поэт XVII в.

— И сами им вторите? — смеясь, спросил Гито.

— По правде сказать, иной раз хочется! По-моему, они правы, Гито; и я охотно бы отдал все не выплаченное мне за пять лет жалованье, лишь бы король был теперь на пять лет старше!

— Вот как! А что было бы, если бы король был на пять лет старше?

— Было бы вот что: король, будь он совершеннолетним, стал бы сам отдавать приказания, а гораздо приятнее повиноваться внуку Генриха Четвертого, чем сыну Пьетро Мазарини. За короля, черт возьми, я умру с удовольствием; но сложить голову за Мазарини, как это чуть не случилось сегодня с вашим племянником!.. Никакой рай меня в этом не утешит, какую бы должность мне там ни дали.

— Хорошо, хорошо, капитан Вилькье, — сказал Мазарини, — будьте покойны, я доложу королю о вашей преданности.

И, обернувшись к своим спутникам, прибавил:

— Едем, господа, все в порядке.

— Вот так штука! — воскликнул Вилькье. — Сам Мазарини здесь! Тем лучше: меня уже давно подмывало сказать ему в глаза, что я о нем думаю. Вы доставили мне подходящий случай, Гито, и хотя у вас вряд ли были добрые намерения, я все же благодарю вас.

Он повернулся на каблуках и ушел в караульную, насвистывая фрондерскую песенку.

Весь обратный путь Мазарини ехал в раздумье: все услышанное им от Коменжа, Гито и Вилькье убеждало его, что в трудную минуту за него никто не постоит, кроме королевы; а королева так часто бросала своих друзей, что поддержка ее казалась иногда министру, несмотря на все принятые им меры, очень ненадежной и сомнительной.

В продолжение своей ночной поездки, длившейся около часа, кардинал, расспрашивая Коменжа, Гито и Вилькье, не переставал наблюдать одного человека. Этот мушкетер, который сохранял спокойствие перед народными угрозами и даже бровью не повел ни на шутки Мазарини, ни на те насмешки, предметом которых был сам кардинал, казался ему человеком необычным и достаточно закаленным для происходящих событий, а еще больше для надвигающихся в будущем.

К тому же имя д'Артаньяна не было ему совсем незнакомо, и хотя он, Мазарини, явился во Францию только в 1634 или 1635 году, то есть лет через семь-восемь после происшествий, описанных нами в предыдущей книге, он все-таки где-то слышал, что так звали человека, проявившего однажды (он уже позабыл при каких именно обстоятельствах) чудеса ловкости, смелости и преданности.

Эта мысль настолько занимала его, что он решил немедленно разобраться в этом деле, но за сведениями о д'Артаньяне не к д'Ар-

таньяну же было обращаться! По некоторым словам, произнесенным лейтенантом мушкетеров, кардинал признал в нем гасконца; а итальянцы и гасконцы слишком схожи и слишком хорошо понимают друг друга, чтобы относиться с доверием к тому, что каждый из них может наговорить о самом себе. Поэтому, когда они подъехали к стене, окружавшей сад Пале-Рояля, кардинал постучался в калитку (примерно в том месте, где сейчас находится кафе Фуа), поблагодарил д'Артаньяна и, попросив его обождать во дворе, сделал знак Гито следовать за собой. Оба сошли с лошадей, бросили поводья лакею, отворившему калитку, и исчезли в саду.

— Дорогой Гито, — сказал кардинал, беря под руку старого гвардейского капитана, — вы мне напомнили недавно, что уже более двадцати лет состоите на службе королевы.

— Да, это так, — ответил Гито.

— Так вот, мой милый Гито, — продолжал кардинал, — я заметил, что вы, кроме вашей храбрости, которая не подлежит никакому сомнению, и много раз доказанной верности, отличаетесь еще и превосходной памятью.

— Вы это заметили, монсиньор? — сказал гвардейский капитан. — Черт, тем хуже для меня.

— Почему?

— Без сомнения, одно из главных достоинств придворного — это умение забывать.

— Но вы, Гито, не придворный, вы — храбрый солдат, один из тех славных воинов, которые еще остались от времен Генриха Четвертого и, к сожалению, скоро совсем переведутся.

— Черт побери, монсиньор! Уж не пригласили ли вы меня сюда для того, чтобы составить мой гороскоп?

— Нет, — ответил Мазарини смеясь, — я пригласил вас, чтобы спросить, обратили ли вы внимание на нашего лейтенанта мушкетеров?

— Д'Артаньяна?

— Да.

— Мне не к чему было обращать на него внимание, монсиньор: я уже давно его знаю.

— Что же это за человек?

— Что за человек? — воскликнул Гито, удивленный вопросом. — Гасконец.

— Это я знаю; но я хотел спросить: можно ли ему вполне довериться?

— Господин де Тревиль относится к нему с большим уважением, а господин де Тревиль, как вы знаете, один из лучших друзей королевы.

— Я хотел бы знать, показал ли он себя на деле...